

Евгений Голубовский

Отрочество

Понимаю, что деление условно. Есть люди, которые всю жизнь, вне зависимости от возраста, остаются детьми. Для других никогда не кончается молодость. Мог бы, к примеру, назвать одесского художника Олега Соколова. Но я принял формулу Льва Толстого – детство, отрочество, юность. Лишь позволю себе чуть сдвинуть временные рамки. У героя Л. Толстого отрочество кончается в 14 лет. Мне представляется, что юность, как я ее воспринимаю сегодня, у меня началась после последнего звонка в 10-м классе. Отрочество было затянувшимся – долгие школьные годы, с 1946 до 1953 года. С окончания «начальной школы», где большинство из нас еще были детьми, до получения «аттестата зрелости». Была ли это зрелость? Тогда я убежденно ответил бы, что конечно. Сейчас я усмехаюсь своей самонадеянности.

Начну все же не со школы, а с дома. Адрес на долгие годы оставался неизменным – Кузнечная, 29, кв. 4. До сих пор помню номер телефона, 2-14-96, поставленного в 1948 году. Потом он менялся – 22-14-96, затем – 25-50-75. Как я шутил тогда: «По дороге к столетию». Большая комната. (Уже потом я узнал, что на всем этаже нашего дома до революции было какое-то еврейское училище. Может, ешиботникам и подходили такие размеры классов, но для жилья они были мало приспособлены.) У отца и матери большая кровать, отгороженная самодельной ширмой (отец любил все делать своими руками), кроватка, где спала моя сестра Ира, родившаяся в 1947 году дома, так как в роддомах свирепствовал стафилококк, и диван, все долгие годы принадлежавший мне.



Я владел и письменным столом, за которым были и книжные шкафы. Правда, одна тумба принадлежала отцу, там лежали его инструменты – стамески, отвертки, молотки, разводные ключи и прочее. На столе стоял чернильный письменный прибор и старинная бронзовая лампа с абажуром цветного стекла. А книги росли быстрее, чем я, и вскоре уже были на полках – и над моим диваном, и над буфетом.

Посреди комнаты – огромный «кайзеровский» стол. Он был большим сам по себе, хоть в квартире это не ощущалось, но когда его раздвигали от угла комнаты до угла, вставляя пронумерованные доски, он растягивался метров до 7-8. И это было на дни рождения, на праздники.

Купил отец и резную мебель конца XIX века – диванчик, столик, два кресла, четыре стула. Они и сегодня в нашем доме, путешествовали с нами на Черемушки, вернулись в город. Отцу нравились изделия Галле. Часть из них продала сестра, когда делала в квартире ремонт, превращая однокомнатную квартиру в трехкомнатную (это было уже после нашего отъезда с Кузнечной), но две вазочки Галле мы храним у себя как драгоценную память.

Понимал ли я тогда, что такое хрусталь, что такое Галле, что такое китайская перегородчатая эмаль – клуазоне? Понимал и ценил. Отец брал меня с собой на «толчок», водил по антикварным и букинистическим магазинам.

А мама? На ней был дом, и это кроме работы врачом, а она перешла из госпиталя работать в 3-ю поликлинику. Прием больных, вызовы, частная практика. Иногда по воскресеньям в передней ставили стулья, и на них сидели в очереди ее пациенты.

Пришлось брать домработницу. На моей памяти их было несколько. Старушка-эстонка Агата Дмитриевна, начавшая свою

карьеру до революции. Ее привезли девочкой в особняк великого князя, где она была одной из многочисленных прислуг. Изысканно вежливая. Зная этикет. Пытавшаяся передать его мне и моей сестре. Она была старой девой. Ее жених, юнкер, погиб на фронте в первую мировую. Я бывал у нее в квартире в Успенском переулке, где она жила с сестрой Клавдией. На стене висела фотография молодого офицера, которому Агата Дмитриевна оставалась верна всю жизнь.

По-русски она говорила хорошо, но с акцентом. Это уже в сороковые годы. А приехав в Петербург из Эстонии, знала только несколько слов. Я запомнил ее рассказ, как она однажды опростоволосилась. Утром зимой выбежала в сад, чтобы размяться. И лишь через несколько секунд увидела, что князь гуляет по саду. Было видно, что ему холодно, он тер руку об руку.

– Ах, какой же вы мерзавец, – сказала юная Агата.

Князь удивленно посмотрел на нее и отошел, что-то пробормотав.

Лишь вечером Агата узнала, что «мерзляк» и «мерзавец» не одно и то же. Но, увы, в сад ее больше не выпускали.

И еще несколько домработниц запомнил, живших с нами кто год, кто два. Вера, образованная девушка из Мурманска. Зачем-то приехала в Одессу, потеряла все деньги и застряла года на два-три. Даже не могу объяснить, почему, но мне по каким-то ощущениям казалось, что у нее с отцом возник роман. А может, я все это воображал, перенося интриги из книг в реальную жизнь.

Дома я находился мало. Школа, быстро сделанные (или не сделанные) уроки и – улица. Нет, не игра в штандер на мостовой, не компания тянула меня туда. К сожалению, друзья появились лишь в старших классах. Но меня тянул к себе город. Моим первым путеводителем по Одессе стала повесть Катаева «Белеет парус одинокий». Я шел на Куликово поле, обходил переулки Отрады. Не менее интересным было погружение в чрево Молдаванки, а ведь наша 107-я школа, по сути, была на границе центра города и этого предместья. Можно было с Комсомольской выйти к Колонтаевской, а там ощущение, что ты в одиночку изучаешь дебри Африки. Придумал я и другой путь – доехать 12 трамваем



С сестрой Ирой

до конечной остановки на Товарной и вновь-таки прокладывая себе, никого не спрашивая, путь к Новому базару.

Иногда моим спутником был сосед по парадному Борис Непомнящий. С ним же мы играли в шашки и шахматы, изучали энциклопедию у них дома, а войну они прожили в Одессе, сохранилась Большая энциклопедия Гранат. И сейчас ценю ее больше остальных. Помню, как меня поразило, что академик Бодуэн де Куртене ввел в энциклопедию и русский мат.

Не понимаю, почему, но в те годы Дерibasовская мне казалась чинной и скучной. Первые прогулки с девочками – а это уже 7-8 класс, привлекала Пушкинская, ее платаны, ее мостовая.

Кстати, машин в городе было мало. До начала 50-х годов еще существовали брочки, а по нашей Кузнечной если в час проходила одна машина, можно было считать, что ужасно шумно.

И все-таки я сказал бы неправду, если бы утверждал, что у меня не было друзей. Но, как ни странно, это были не мальчики, а девочки.

Вот и верь тем, кто говорит, что не существует дружбы мальчиков с девочками.

Самый близкий друг, оставшийся таким до конца ее жизни, но в отрочестве очень близкий, – Муся Винер. Мои родители дружили с ее родителями – Константином Самсоновичем и Натальей Вениаминовной. Муся была старше меня на три недели. Так что буквально с пеленок мы были знакомы. В эвакуации Муся с тетей Александрой Самсоновной были в Самарканде, вернулись в Одессу, к себе домой, на Тираспольскую, – квартиру в годы оккупации сохранила их домработница, прожившая в этой семье всю жизнь. Нас разделяли полквартала Кузнечной улицы. Нужно ли объяс-

нять, что 2-3 раза в неделю я был у них в гостях. У Винеров было три комнаты, была «таинственная» антресоль...

Чем только не занимались мы! Играли в бирюльки. Потом оказалось, что никто из моих соучеников не знал, что такое бирюльки. А я до сих пор, как перед глазами, вижу крошечные чашки, чайнички, зверят, и все это было вырезано из дерева, раскрашено. И все это нужно доставать крючком, чтобы не разрушить пирамидку.

Наладили «свечное» производство. Сами из парафина делали новогодние свечи. Учились фотографировать. И тут же на антресоли проявлять, печатать.

Муся умерла в 2004 году. Но всю жизнь она оставалась близким человеком, «подругой дней моих суровых», мог бы сказать я вслед за поэтом.

Среди моих подруг тех лет Ната Гольденштейн. Полковник Гольденштейн – друг юности моей мамы. В годы войны он должен был стать генералом, но нагрубил Г.К. Жукову, и тот ему это не простил. Хоть закончил войну Гольденштейн комендантом Потсдама, принимал всех участников Потсдамской конференции. Ната была девочкой с мальчишескими замашками. Сейчас понимаю, что в нашем дуэте она была заводилой самых неожиданных авантюр. Хоть я не любил рыбу, с ней мы ездили в рыбколхоз, с ней прошли всю Люстдорфскую дорогу, с ней впервые выпил стакан «кисляка» где-то в будочке на Костанди.

Не могу не вспомнить Валю Коган. Вновь-таки мои родители дружили с ее родителями. Ее отец Яков Моисеевич Коган был главврачом психиатрической больницы на Слободке, мать Елена Марковна Гринфельд – известным гинекологом. Жили они на территории больницы на Слободке, так что поездка к ним сама по себе была приключением.

Многое я узнал позднее. И о том, что Я.М. Коган был одним из первых переводчиков Фрейда в России, и о том, что по другую сторону, за благонравным портретом Ивана Павлова, у него приклеен портрет запретного Зигмунда Фрейда. И о том, что он знает наизусть чуть ли не всего Пастернака. А Елена Марковна в юности входила в одесский ЮгоЛЕФ, это она с подругами обнаженные шествовали по улицам Одессы с лозунгом «Долой стыд!».



Нет, в то время, когда я их запомнил, это были вполне люди «системы». Но искры в их глазах не угасли, они были молоды и в зрелости.

В Валу был влюблен со школьных лет Иван Григорьев, ставший позднее психиатром. Сколько стихов он ей посвятил! Кажется, из этой девочки сочится радость, веселье, улыбка. Но ироническая, все подмечающая. И какая это сила – уметь над собой, как и над всеми, посмеяться!

Думаю, читатель этого эссе уже заметил, что я оттягиваю время, прежде чем рассказать о главном (или так называемом главном) – о школе.

Наша 107 школа была, как мне представляется, построена как школа или гимназия еще в начале XX века. В первые послевоенные годы мы в ней испытывали те же тяготы, что и в других. Холодно, нет возможности отопить такие огромные классы. Мы сидели в пальто, жались друг к другу. Естественно, это была

еще мужская школа. Объединили школы тогда, когда я закончил 10 класс. Вспоминаю наши портфели, набитые потрепанными учебниками, переходящими из рук в руки, чернильницы-невывайки, ручки, где к перьям мы приделывали пружинки, чтобы реже макать их в чернила. А тысячи развлечений – от бросания карбида в чернильницу до натирания школьной доски стеарином, чтобы мел не оставлял на ней следов.

А клички... У нас в классе была Лошадь – это был худой и вытянутый Гольцман, был Цыган – тут уж ничего не скажешь, не каждому еврею удастся быть так похожим на рома. Меня сразу же прозвали Толстый. Понадобилось 2-3 года. Я похудел раза в два. И кличка исчезла, меня запросто окликали – Голубь.

В школе были хорошие и плохие учителя. Как, думаю, в каждой школе. Хороших было больше. Колдун, умелец, учитель физики Бахман. А рядом парторг, пустослов, хоть и офицер в отставке, учитель географии Ицкович. Старая еврейка, преподававшая украинский язык и литературу. Нас удивляло, что и во время перемен, и на улице она говорила только по-украински, как будто не знала русский язык. А может, и впрямь не знала?

Но гордостью школы были педагоги математики и литературы. Валентин Колот, сейчас бы мы сравнили его с Моше Даяном, но тогда для нас он был то ли Кутузовым, то ли Нельсоном. Один глаз потерял на войне, ходил в черной повязке. Большой, красивый, остроумный, учивший щелкать любую задачу, как орех. Я восхищался им, но математика мне была чужда. А вот литературу у нас вел Борис Ильич Хуторецкий. Этому молодому педагогу я обязан многими своими увлечениями. Он великолепно читал стихи, иронично объяснял курс советской литературы. Ничего лишнего, но улыбка играла большую роль, чем слова. Кстати, когда заболел математик, Хуторецкий вел и математику.

Для тех, кто любил литературу, он придумал «кружок», который вела его жена. Несколько раз я заходил по делам к ним домой – крошечная квартира, погребенная под книгами. Еще в 2013 я получал от Бориса Ильича приветы из Бостона. Здоровья ему и долголетия.

Траурным днем для меня был день, когда два урока отводились на физкультуру. Не научился я перепрыгивать «коня»,

лазить по веревке, кидать гранату. Уже спустя лет десять после школы я встретил своего учителя физкультуры. Он обрадовался, подошел, обнял меня. «Но ведь я не замордовал тебя, хоть мог, – понимал, что не твое это дело».

Нелюбовь к физкультуре обернулась реальной проблемой. Дрались классом на класс, а иногда и внутри класса возникали стычки. И был я больно бит. Как долго бы это продолжалось, не знаю, если бы однажды эту сценку не увидел Цыган, не вырвал меня из кучи-малы и не объявил: «Кто тронет Женьку, будет иметь дело со мной». И меня оставили в покое...

Школа, естественно, ввела в круг моего общения приятелей-мальчишек.

И одна из трагедий. Я дружил с Вовой Гринбергом, он жил на Новосельского и Тираспольской. Мы оба были книголюбями, и чуть ли не ежедневно то я бывал у него, то он у меня. Так вот в начале 50-х годов я впервые услышал слово «саркома». Вове ампутировали ногу, а еще через полгода его не стало. Пожалуй, это была первая смерть, которую я воспринял как личное горе. Сколько мертвых я видел в госпитале в Сочи! Всегда было чувство страха и сожаления. Но тут была боль, слезы, горечь.

Дружил, общался много с Мишей Колтынюком, нашим круглым отличником, с Люсиком Мильзоном, жившим на углу Кузнечной и Спиридоновской, с Мишей Варшавским – племянником директора школы.

Потом пути разошлись, все мы разбежались. У каждого были свои интересы, а значит, судьбы. Но признаюсь, мне было очень приятно, когда в 2012 году я получил письмо из Германии от Миши Варшавского. А в нем фото – мы, думаю, в 10-м классе, сфотографировались на Преображенской, напротив Лаокоона (да, тогда он стоял там). Нам казалось, что мы вовеки будем идти рядом друг с другом. В жизни все оказалось сложнее – она разбросала нас по всему миру.

Школа – это, конечно, и пионерия, и комсомол. Не жалею, что вступил туда, это давало возможность делать газету класса, участвовать в культпоходах. Хоть однажды пожалел. Когда меня исключали из комсомола в 1956 году, я подумал: «А зачем я туда вступал?». Но сам дал себе ответ – «А разве иначе меня приняли

бы в институт?». Таковы были правила игры, которая называлась жизнь. А вот в партию не вступал, хоть звали, и ни разу об этом не пожалел. Как не вступил ни в одну из партий после перестройки. И вновь так же осознанно.

Ни разу в жизни не был ни в пионерском лагере, ни в доме отдыха, ни в санатории. Благами не пользовался. Хоть болел в школе много. Регулярные простуды. Но этим никого не удивишь. Весенний катар глаз. Вот тогда я первый и единственный раз был на приеме у В.П. Филатова. У него дома. В прихожей сидела медсестра,

которая записывала и принимала гонорар. А затем ты попадал в кабинет небожителя, Владимира Петровича Филатова. Визит длился недолго. Зная, что мать врач, академик беседовал с ней. Сказал, что это аллергическое заболевание. Но главное – оно не бывает у взрослых людей, так что пройдет.

В дальнейшем мои глаза лечил профессор Кальфа. Семен Федорович, а мы с ним подружились, делал мне операции на веках, следил за состоянием роговицы. Я очень любил этого врача, он вызывал во мне не страх, как, увы, многие его коллеги, а уважение и почтение.

В школьные годы начались приступы астмы. Как просто снимались они тогда одной таблеткой эфедрина!

И первую операцию я испытал в школьные годы. Казалось бы, чепуха – аппендицит. Делал операцию выдающийся хирург профессор Франкенберг, легендарная личность, охотник на тигров и создатель хирургической школы. Его до сих пор как своего учителя вспоминает Сергей Александрович Гешелин, тоже ставший выдающимся хирургом. Естественно,



С Мишей Варшавским

прооперировал успешно. Но проходила неделя, другая, а рана не заживала. Оказалось, что и великому хирургу могут подсунуть гнилые нитки. Профессор Файнблат второй раз разрезал мне живот, извлек расплывшиеся нити, сшил все вновь. И в этот раз – на всю жизнь.

Начиная с 1950 года ежегодно летом мы выезжали на дачу. В 1936 году к моему рождению отец построил одноэтажный домик (одна комната, веранда и кухня) на 10-й станции Большого Фонтана, в кооперативе врачей. Там получили участки доктор Г. Жолковский, доктор В. Ермулович, доктор М. Шапочников, доктор И. Литинецкий (а может, его тесть, глава одесских цеховиков, мудрейший коммерсант Мах, будто вышедший из рассказов Бабеля) и другие.

Переезд на дачу был событием. На зиму ничего не оставляли. Поэтому заказывали грузовичок и перевозили все – стулья, стол, шкаф, кровати. В годы войны дача не пострадала, но в 1944-46 голодных и холодных годах ее разбирали на дрова жители соседних улиц. Лишь к 1950 году удалось вернуть ей жилой вид. И каждое лето сел на 18 трамвай – и в городе. Сел на 18 трамвай – и на даче. Такой близости дачных участков от центра города не встречал, пожалуй, нигде.

Дача – это море. Дача – это пинг-понг, дача – это новые знакомства. Мы нашу дачу не сдавали. Но те, у кого было по несколько комнат, обзаводились соседями. Иногда из Одессы, иногда из Москвы, других городов.

Лето 1951 года. Мне пятнадцатый год. Дачу Гридиных сняла семья из Москвы. Две дамы и с ними пятнадцатилетняя девушка Светлана. Через три-четыре дня знакомимся, вместе ходим на пляж. Проходит еще неделя. Светлана зовет на море, но я не могу, лежу с ангиной. Она заходит в комнату, предлагает сыграть в карты. Не помню, кто кого оставил в дураках, но вдруг она просовывает руку под одеяльце. Я замираю, краснею, и вдруг осознаю, что я – мужчина. Вот тебе и отрочество.

Стыдно признаться, но я испугался развития событий. Больше на пляж мы вместе не ходили.

Не хочу упустить одну важную составляющую нашей, а значит, и моей жизни.

Что такое борьба с космополитизмом, что такое шельмование М. Зощенко и А. Ахматовой, я знал больше из газет. Хоть Зощенко я уже читал, и его рассказы мне очень нравились. Но вот кампания по разоблачению врачей-убийц отразилась и на нашем доме. Мама, которую знали в районе, где она работала, а это от Преображенской до Екатерининской, приходила домой черная. Ее лично никто не преследовал, но сидеть на собраниях, слушать, что вслед за Москвой в Одессе сняли с работы одного, другого, третьего, было невыносимо. Тем более, как я понимаю, она не могла сама отличить правду ото лжи. И помню, как отец настойчиво ей повторял, что все это клевета, что врачей-отравителей не было и нет, что для этого достаточно специалистов в НКВД. Я слушал их разговоры и с ужасом думал: «А вдруг мама так и скажет на каком-то собрании?».

Кстати, у нас в школе я впервые услышал слово «сионизм». На какой-то перемене вдруг подошел к группе мальчишек, где стоял и я, завуч школы Гарифалло, как мне кажется, из одесских греков или итальянцев, и неожиданно произнес: «Не ведите сионистских разговоров». Что это было? Предупреждение? Угроза? До сих пор не понимаю.

Но, как ни странно, десять лет школы запомнились мне, прежде всего, тем, что я прочел всю русскую классику, очень много переводных книг. Понял, что сталинские премии всем этим «Белым березам» – это лабуда. И главное – я запоем в 9-10 классе начал читать стихи. Правда, и писать стихи тогда же начал. Слабые. Подражательные. Хоть их записывали на радио, транслировали. До сих пор художник Витя Маринюк рассказывает мне, что, стоя на вахте, вдруг услышал мой голос – я читал стихи на всю часть из «черной тарелки». Но эта детская болезнь быстро прошла, а любовь к поэзии осталась.

И именно в те годы вместе с Юликом Златкисом, он учился на класс младше меня, мы начали совершать набеги на толкучие рынки в поисках книг. Так что этой страсти более 60 лет. Как и моей дружбе с Юлием Абрамовичем Златкисом, сейчас одним из прославленных учителей математики в Москве.

Москва, как много в этом звуке... В школьные годы я дважды – в восьмом и десятом классе – ездил на каникулы в Москву,

а в 9-м – в Ленинград. Ленинград очаровал, но сердце мое принадлежало Москве. Родственники позаботились (в Москве жил мамин брат Давид Натанович), и меня ждали билеты на всю неделю моих каникул.

До сих пор помню восторг от «Синей птицы» Метерлинка во МХАТе, до сих пор помню, как впервые пришел в Третьяковку. По глупости не оценил тогда иконопись, XVIII век, но зато ошеломил меня Врубель. Потом меня спрашивали о Серове, Коровине, Признаюсь, я в первый приезд этого не увидел, не оценил. Моим богом стал Михаил Врубель. А потом я сделал самостоятельное открытие. Без подсказки понял, что на здании «Метрополя» его майоликовое панно «Принцесса Греза». Как я был горд собой!

Признаюсь, что в обязательную программу, подготовленную для меня, входило и посещение Мавзолея. Очередь была длинной, часа два тащились к гробнице. Когда зашли, со всех сторон в полутьме раздавались невидимые голоса – не задерживайтесь, руки из карманов, быстрее. Поразила не желтизна лица, не сходство, а то, что на френче я увидел орден. Будучи мальчиком начитанным, я знал, что Ленин ничем себя не награждал, во френче не ходил, только в тройке... Уже позже, в Одессе, учитель истории Столярский рассказал мне, что кто-то из соратников (кажется, Горбунов) положил этот орден на френч во время похорон. На френче настоял Сталин вопреки протестам Крупской. Так его и показывали публике. Кажется, после смерти Сталина его перешли, вернули классический костюм – тройку...

Был в Москве в Большом театре на балете «Красный мак». И обрадовался: наш оперный – лучше!

Вернувшись домой, я с огромным интересом обошел еще и еще раз одесские музеи. Но тогда для меня главным музеем города был археологический с его «Египетским кабинетом» и древнегреческими вазами.

Все это было до 1953 года, до смерти Сталина. Я окончил школу в июне, а в марте умер «вождь народов», так что мирискусников в Художественном музее начали показывать чуть позже. А у нас в Одессе отличная коллекция...

Хочу еще раз вернуться к себе домой, на Кузнечную. Росла сестра. Ежегодно в конце декабря перед Новым годом и ее днем



рождения отец ставил огромную елку. И на ней из блестящего стекла выкладывал – «Ире – три года», «Ире – пять лет»... Так продолжалось до ее 16 лет. Жизнь вносила в суматошный ритм ощущение чего-то стабильного. Вместе всегда обедали, даже если мама с вызовов приходила поздно. В доме не было ссор. Вспоминаю одну, поразившую меня. Когда умер Сталин, мама плакала. Пришел отец, увидел это, и впервые я услышал, как он закричал: «Замолчи, дура, тиран умер!». Мать ушла на кухню, я в свой «книжный угол». Тогда отец, подойдя ко мне, начал объяснять, какая огромная кровь на руках этого подлеца. Кстати, брат матери Давид иначе чем «бандит», не помню точно, как это звучало на идиш, Сталина не называл. И это еще при его жизни. Конечно, только дома...

Пишу обо всем что угодно. Но ни разу не написал о своих влюбленностях.

В школе их не было. Поэтому я и считаю этот период отрочеством. Мимолетные увлечения, длившиеся 2-3 дня, – сколько угодно, но не то что любви, влюбленности не было. Как видно,

я был слишком книжным мальчиком и ждал Ассоль на фрегате под алыми парусами. А точнее – у меня на это не было времени. Ведь уже в 10-м классе я обманом проник не только в библиотеку им. Ленина, но и в Горьковку. Сколько книг я там прочитал! Нужно было решать, куда поступать после школы.

Кстати, учился я не очень хорошо. То есть троек у меня не было. Но не менее половины четверок. Нет, не это меня смущало. Просто в 1953 году я реально осознал, что с «пятой графой», еврей, я ни на исторический, ни на филологический не попаду.

Неожиданный подарок судьбы – смерть Сталина. Но маховик в нашей стране очень медленно движется. И хоть врачи были освобождены, хоть о космополитизме стали говорить меньше, – большее, что светило мне, – Одесский политехнический. И тут я должен произнести напыщенные слова. Есть подвиги и в дружбе – Муся Винер подала со мной заявление в один и тот же день, на электрофак.

Муся, Муха, как ее называли все друзья, училась школе № 3 на той же улице Льва Толстого, что и наша 107-я школа. А так как мы с ней дружили с раннего детства, то как-то естественно, что девочки из ее класса подружились с нашими мальчиками. Так, в классе восьмом познакомился я с Лерой Перловой, Олей Денис, Фаей Килимник, Наташей Чуклиной. Многие потом вышли замуж за моих одноклассников – Биндера, Калинина, Юделиса, у многих были романы, не завершившиеся свадьбами. И все же для меня тогда, в школе, это было фоном. Жизнь, как ни смешно это сейчас, начиналась, когда я оставался один на один с собой. И, конечно, с книгой.

А посещение одесских театров, а ночные сеансы в кино на трофейные фильмы, а первый раз услышанный симфонический оркестр...

Это все готовило к юности, а точнее – к жизни.

